



Л. Троцкий. Терроризм и коммунизм.

- Предисловие.
- I. Соотношение сил.
- II. Диктатура пролетариата.
- III. Демократия.
- IV. Терроризм.
- V. Парижская Коммуна и Советская Россия.
- VI. Маркс и... Каутский.
- VII. Рабочий класс и его советская политика.
- VIII. Вопросы организации труда.
- IX. Карл Каутский, его школа и его книга.
- Вместо послесловия.
- Примечания.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Поводом к этой книге послужил ученый пасквиль Каутского того же наименования*. Наша работа была начата в период ожесточенных боев с Деникиным [20] и Юденичем [21] и не раз прерывалась событиями на фронтах. В те тягчайшие дни, когда писались первые главы, все внимание Советской России было сосредоточено на чисто военных задачах. Прежде всего нужно было отстоять самую возможность социалистического хозяйственного творчества. Промышленностью мы могли заниматься немногим свыше того, что было необходимо для обслуживания фронтов. Экономическую клевету Каутского мы вынуждены были разоблачать, главным образом, по аналогии с его политической клеветой. Чудовищные утверждения Каутского, будто русские рабочие неспособны к трудовой дисциплине и хозяйственному самоограничению, мы могли в начале этой работы — почти год тому назад — опровергать преимущественно указаниями на высокую дисциплинированность и боевой героизм русских рабочих на фронтах гражданской войны. Этого опыта было с избытком достаточно для опровержения мещанских клевет. Но теперь, спустя несколько месяцев, мы можем обратиться к фактам и доводам, почерпнутым непосредственно из хозяйственной жизни Советской России.

Как только ослабело военное давление, — после разгрома Колчака [22] и Юденича и нанесения нами решающих ударов Деникину, после заключения мира с Эстонией [23] и приступа к переговорам с Литвой и Польшей [24], — во всей стране произошел поворот в сторону хозяйства. И один этот факт быстрого и сосредоточенного перенесения внимания и энергии с одних задач на другие, глубоко-отличные, но требующие не меньших жертв, является непререкаемым свидетельством могущественной жизнеспособности советского строя. Несмотря на все политические испытания, физические бедствия и ужасы, трудящиеся массы бесконечно далеки от политического разложения, нравственного распада или апатии. Благодаря режиму, который хотя и наложил на них большие тяготы, но осмыслил их жизнь и дал ей высокую цель, они сохраняют исключительную нравственную упругость и беспримерную в истории способность сосредоточения внимания и воли на коллективных задачах. Сейчас во всех отраслях промышленности идет энергичная борьба за установление строгой трудовой дисциплины и повышение производительности труда. Организации партии, профессиональных союзов,

правления заводов и фабрик соревнуют в этой области при безраздельной поддержке общественного мнения рабочего класса в целом. Завод за заводом добровольно, по постановлению своих общих собраний, удлиняют рабочий день. Петербург и Москва подают пример, провинция равняется по Петербургу. Субботники и воскресники, т. е. добровольная и бесплатная работа в часы, предназначенные для отдыха, получают все большее распространение, вовлекая в свой круг многие и многие сотни тысяч рабочих и работниц. Напряженность и производительность труда на субботниках и воскресниках отличается, по отзывам специалистов и по свидетельству цифр, исключительной высотой.

Добровольные мобилизации для трудовых задач в партии и в союзе молодежи проводятся с таким же энтузиазмом, как раньше для боевых задач. Трудовое добровольчество дополняет и одухотворяет трудовую повинность. Недавно созданные комитеты по трудовой повинности охватывают сетью своей всю страну. Привлечение населения к массовым работам (очистка путей от снега, ремонт железнодорожного полотна, рубка леса, заготовка и подвоз дров, простейшие строительные работы, добыча сланца и торфа) получает все более широкий и планомерный характер. Все расширяющееся привлечение к труду воинских частей было бы совершенно неосуществимо при отсутствии высокого трудового подъема...

Правда, мы живем в обстановке тяжелого хозяйственного упадка, истощения, бедности, голода. Но это не довод против советского режима: все переходные эпохи характеризовались подобными же трагическими чертами. Каждое классовое общество (рабское, феодальное, капиталистическое), исчерпав себя, не просто сходит со сцены, а насильственно сметается путем напряженной внутренней борьбы, которая непосредственно причиняет участникам нередко больше лишений и страданий, чем те, против которых они восстали.

Переход от феодального хозяйства к буржуазному — подъем огромного прогрессивного значения — представляет собою чудовищный мартиролог. Как ни страдали крепостные массы при феодализме, как ни тяжело жилось и живется пролетариату при капитализме, никогда бедствия трудящихся не достигали такой остроты, как в эпохи, когда старый феодальный строй насильственно ломался, уступая место новому. Французская Революция XVIII столетия, которая достигла своего гигантского размаха под напором пострадавших масс, сама на продолжительный период до чрезвычайности углубила и обострила их бедствия. Могло ли быть иначе?

Дворцовые перевороты, заканчивающиеся личными перетасовками на верхах, могут совершаться в короткий срок, почти не отражаясь на хозяйственной жизни страны. Другое дело — революции, втягивающие в свой водоворот миллионы трудящихся. Какова бы ни была форма общества, оно покоится на труде. Отрывая народные массы от труда, вовлекая их надолго в борьбу, нарушая этим их производственные связи, революция тем самым наносит удары хозяйству и неизбежно понижает тот экономический уровень, который она застигла у своего порога. Чем глубже социальный переворот, чем большие массы он вовлекает, чем он длительнее, тем большие разрушения он совершает в производственном аппарате, тем более опустошает общественные запасы. Отсюда вытекает лишь тот, не требующий доказательств, вывод, что гражданская война вредна для хозяйства. Но ставить это в счет советской системе хозяйства — то же самое, что ставить в вину новому человеческому существу родовые муки матери, произведшей его на свет. Задача в том, чтобы гражданскую войну сократить. А это достигается только решительностью действия. Но именно против революционной решительности направлена вся книга Каутского.

Со времени выхода разбираемой нами книги в свет не только в России, но во всем мире, и прежде всего в Европе, произошли крупнейшие события или продвинулись вперед многозначительные процессы, подрывающие последние устои каутскианства.

В Германии гражданская война принимала все более ожесточенный характер. Внешнее организационное могущество старой партийной и профессиональной демократии рабочего класса не только не создало условий более мирного и "гуманного" перехода к социализму, что вытекает из нынешней теории Каутского, но, наоборот, послужило одной из главных причин затяжного

характера борьбы при все возрастающем ее ожесточении. Чем более консервативным грузом стала германская социал-демократия, тем больше сил, жизни и крови вынужден расходовать преданный ею германский пролетариат в ряде последовательных атак на устои буржуазного общества, чтобы в процессе самой борьбы создать для себя новую, действительно революционную организацию, способную привести его к окончательной победе. Заговор немецких генералов, мимолетный захват ими власти и последовавшие затем кровавые события показали снова, каким жалким и ничтожным маскарадом является так называемая демократия в условиях крушения империализма и гражданской войны. Пережившая себя демократия не разрешает ни одного вопроса, не смягчает ни одного противоречия, не залечивает ни одной раны, не предотвращает восстаний ни справа, ни слева, — она бессильна, ничтожна, лжива и служит только для того, чтобы сбивать с толку отсталые слои народа, особенно мелкую буржуазию.

Выраженная Каутским в заключительной части его книги надежда на то, что западные страны, "старые демократии" Франции и Англии, к тому же увенчанные победой, дадут нам картину здорового, нормального, мирного, истинно каутскианского развития к социализму, является одной из наиболее нелепых иллюзий. Так называемая республиканская демократия победоносной Франции представляет собою в настоящее время самое реакционное, кровавое и растленное правительство изо всех, какие когда-либо существовали на свете. Его внутренняя политика построена на страхе, жадности и насилии в такой же мере, как и его внешняя политика. С другой стороны, французский пролетариат, обманутый более, чем какой бы то ни было класс был когда бы то ни было обманут, все более переходит на путь прямого действия. Репрессии, какие правительство республики обрушило на Всеобщую Конфедерацию Труда [25], показывают, что даже синдикалистскому каутскианству, то есть лицемерному соглашательству, нет легального места в рамках буржуазной демократии. Революционизирование масс, ожесточение собственников и крушение промежуточных группировок — три параллельных процесса, обуславливающих и предвещающих близость ожесточенной гражданской войны, — шли на наших глазах полным ходом за последние месяцы во Франции.

В Англии события, отличные по форме, идут по тому же основному пути. В этой стране, правящий класс которой сейчас, более чем когда-либо, угнетает и грабит весь мир, формулы демократии потеряли свое значение даже как орудие парламентского шарлатанства. Наиболее квалифицированный в этой области специалист, Ллойд-Джордж [26], апеллирует ныне не к демократии, а к союзу консервативных и либеральных собственников против рабочего класса. В его аргументах не осталось и следа демократической расплывчатости "марксиста" Каутского. Ллойд-Джордж стоит на почве классовых реальностей и именно потому говорит языком гражданской войны. Английский рабочий класс с отличающим его тяжеловесным эмпиризмом приближается к той главе своей борьбы, перед которой самые героические страницы чартизма [27] померкнут, как Парижская Коммуна [28] побледнеет перед близким победоносным восстанием французского пролетариата.

* *Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte (!) der Revolution von Karl Kautsky, Berlin 1919.*

Именно потому, что исторические события с суровой энергией развивали за эти месяцы свою революционную логику, автор настоящей книги спрашивает себя: есть ли еще надобность в ее опубликовании? Нужно ли еще теоретически опровергать Каутского? Есть ли теоретическая потребность в оправдании революционного терроризма?

К сожалению — да. Идеология играет в социалистическом движении, по самому существу его, огромную роль. Даже для эмпирической Англии наступил период, когда рабочий класс должен предъявлять все возрастающий спрос на теоретическое обобщение своего опыта и своих задач. Между тем психология, даже пролетарская, заключает в себе страшную инерцию консерватизма, — тем более, что в данном случае дело идет не о чем ином, как о традиционной идеологии партий II Интернационала, пробуждавших пролетариат и еще недавно столь могущественных. После крушения официального социал-патриотизма [29] (Шейдеман, В. Адлер [30], Ренодель [31], Вандервельде [32], Гендерсон [33], Плеханов [34] и пр.) международное каутскианство [35] (штаб германских независимых [36], Фридрих Адлер [37], Лонгэ [38], значительная часть итальянцев, английские "независимцы" [39], группа Мартова [40] и пр.) является главным политическим фактором, на который опирается неустойчивое равновесие капиталистического общества. Можно сказать, что воля трудящихся масс всего цивилизованного мира, непосредственно подстегиваемая ходом событий, в настоящее время несравненно более революционна, чем их сознание, над которым еще тяготеют предрассудки парламентаризма и соглашательства. Борьба за диктатуру рабочего класса означает для текущего момента жестокую борьбу с каутскианством внутри рабочего класса. Ложь и предрассудки соглашательства, еще отравляющие атмосферу даже в партиях, тяготеющих к III Интернационалу, должны быть отброшены прочь. Делу непримиримой борьбы против трусливого, половинчатого и лицемерного каутскианства всех стран должна служить эта книга.

Р. С. Сейчас (май 1920 г.) над Советской Россией снова сгустились тучи. Буржуазная Польша своим нападением на Украину [41] открыла новое наступление мирового империализма на Советскую Россию. Величайшие опасности, вновь вырастающие перед революцией, и огромные жертвы, налагаемые войной на трудящиеся массы, снова толкают русских каутскианцев на путь открытого противодействия Советской власти, т. е. фактически на путь содействия мировым душителям социалистической России. Судьба каутскианцев состоит в том, чтобы пытаться помогать пролетарской революции, когда дела ее стоят достаточно хорошо, и чинить ей всевозможные препятствия, когда она особенно нуждается в помощи. Каутский уже не раз предсказывал нашу гибель, которая должна явиться наилучшим доказательством его, Каутского, теоретической правоты. В своем падении этот "наследник Маркса" дошел до того, что единственной серьезной его политической программой является спекуляция на крушение пролетарской диктатуры.

Он ошибется и на этот раз. Разгром буржуазной Польши Красной Армией, руководимой коммунистическими рабочими, явится новой манифестацией могущества пролетарской диктатуры и именно этим нанесет сокрушительный удар мещанскому скептицизму (каутскианству) в рабочем движении. Несмотря на сумасшедшую путаницу внешних форм, лозунгов и красок, современная нам история до чрезвычайности упростила основное содержание своего процесса, сведя его к борьбе империализма с коммунизмом. Пилсудский [42] воюет не только за земли польских магнатов на Украине и Белоруссии, не только за капиталистическую собственность и католическую церковь, но и за парламентарную демократию, за эволюционный социализм, за II Интернационал, за право Каутского оставаться критическим приживальщиком буржуазии. Мы воюем за Коммунистический Интернационал и международную революцию пролетариата. Ставка велика с обеих сторон. Борьба будет упорной и тяжелой. Мы надеемся на победу, ибо имеем на нее все исторические права.

*Москва,
29 мая 1920 г.*

I. СООТНОШЕНИЕ СИЛ

Довод, который неизменно повторяется в критике советского режима России и особенно в критике революционных попыток перехода к нему в других странах, — это довод от соотношения сил. Советский режим в России утопичен, ибо "не отвечает соотношению сил". Отсталая Россия не может ставить себе задач, которые были бы в пору передовой Германии. Но и для пролетариата Германии было бы безумием захватывать в свои руки политическую власть, так как это "в настоящее время" нарушило бы соотношение сил. Лига Наций [43] несовершенна, но зато отвечает соотношению сил. Борьба за низвержение империалистского господства утопична, — соотношению сил отвечает требование поправок к Версальскому договору [44]. Когда Лонгэ ковылял за Вильсоном [45], то это происходило не в силу политической дряблости Лонгэ, а во славу закона соотношения сил. Австрийский президент Зейц [46] и канцлер Реннер [47] должны, по мнению Фридриха Адлера, упражнять свою мещанскую пошлость на центральных постах буржуазной республики, ибо иначе будет нарушено соотношение сил. Года за два до мировой войны Карл Реннер, тогда еще не канцлер, а "марксистский" адвокат оппортунизма, разъяснял мне, что третьейиюньский режим [48], т. е. увенчанный монархией союз помещиков и капиталистов, неизбежно продержится в России в течение целой исторической эпохи, так как он отвечает соотношению сил.

Что же такое это соотношение сил, — сакраментальная формула, которая должна определять, направлять и разъяснять весь ход истории, оптом и в розницу? Почему собственно формула соотношения сил у нынешней школы Каутского неизменно выступает, как оправдание нерешительности, косности, трусости, измены и предательства?

Под соотношением сил понимается все, что угодно: достигнутый уровень производства, степень классовой дифференциации, число организованных рабочих, наличность в кассе профессиональных союзов, иногда результат последних парламентских выборов, нередко степень уступчивости министерства или степень наглости финансовой олигархии, — чаще всего, наконец, то суммарное политическое впечатление, которое создается у полуслепшего педанта или у так называемого реального политика, хотя бы и усвоившего фразеологию марксизма, но на деле руководящегося пошлейшими комбинациями, обывательскими предрассудками и парламентскими "приметами"... Пошушукавшись с директором департамента полиции, австрийский социал-демократический политик в добрые и не столь старые годы всегда с точностью знал, допустима ли в Вене "по соотношению сил" мирная уличная манифестация в день Первого Мая. Для Эбертов, Шейдеманов и Давидов [49] соотношение сил не так давно измерялось с полной точностью тем количеством пальцев, которые протягивал им при встрече в рейхстаге Бетман-Гольвег [50] или сам Людендорф [51].

По Фридриху Адлеру, установление советской диктатуры в Австрии было бы гибельным нарушением соотношения сил: Антанта обрекла бы Австрию на голод. В доказательство Фридрих Адлер на июльском съезде Советов указывал на Венгрию, где в тот период венгерским Реннерам не удалось еще при помощи венгерских Адлеров сбросить власть Советов. На первый взгляд могло действительно показаться, что Фридрих Адлер в отношении Венгрии оказался прав: пролетарская диктатура там была вскоре низвергнута, и место ее заняло министерство мракобеса Фридриха [52]. Но вполне допустимо спросить, отвечало ли это последнее соотношению сил? Во всяком случае Фридрих и его Гусар [53] не могли бы и временно оказаться у власти, если бы не румынская армия. Отсюда ясно, что, при объяснении судеб Советской власти в Венгрии, приходится брать в расчет "соотношение сил", по крайней мере, в пределах двух стран: самой Венгрии и соседней Румынии. Но не трудно понять, что на этом останавливаться нельзя: если бы в Австрии была установлена диктатура Советов до наступления венгерского кризиса, свержение Советской власти в Будапеште оказалось бы задачей несравненно более трудной. Стало быть, приходится включать и Австрию, вместе с предательской политикой Фридриха Адлера, в то соотношение сил, которое определило временное падение Советской власти в Венгрии.

Сам Фридрих Адлер ищет, однако, ключа к соотношению сил не в России и Венгрии, а на Западе, в странах Клемансо [54] и Ллойд-Джорджа: у них в руках хлеб и уголь, а уголь и хлеб, особенно в

наше время, такой же первостепенный фактор в механике соотношения сил, как пушки в лассалевской конституции. Сведенная с высот, мысль Адлера состоит, следовательно, в том, что австрийский пролетариат не должен брать власть до тех пор, пока ему это не позволит Клемансо (или Мильеран [55], т. е. Клемансо второго сорта).

Однако и здесь допустимо спросить: отвечает ли политика самого Клемансо действительному соотношению сил? На первый взгляд может показаться, что соответствие достаточно хорошо — если не доказывается, то обеспечивается жандармами Клемансо, которые разгоняют рабочие собрания, арестуют и расстреливают коммунистов. Но тут нельзя не вспомнить, что террористические меры Советской власти, то есть те же обыски, аресты и расстрелы, только направленные против контрреволюционеров, считаются кое-кем доказательством того, что Советская власть не отвечает соотношению сил. Тщетно стали бы мы, однако, искать в наше время во всем мире такого режима, который для своего поддержания не прибегал бы к средствам суровой массовой репрессии. Это значит, что враждебные классовые силы, прорвав оболочку всякого, в том числе и "демократического" права, стремятся определить свое новое соотношение путем беспощадной борьбы.

Когда в России учреждалась советская система, не только капиталистические политики, но и социалистические оппортунисты всех стран объявили ее дерзким вызовом соотношению сил. На этот счет не было разногласий между Каутским, габсбургским графом Черниным [56] и болгарским премьером Радославовым. С того времени рухнули австро-венгерская и германская монархии, рассыпался прахом самый могущественный в мире милитаризм. Советская власть устояла. Победоносные страны Антанты мобилизовали и выбросили против нее все, что могли. Советская власть удержалась. Если бы Каутскому, Фридриху Адлеру или Отто Бауэру [57] предсказали два года тому назад, что диктатура пролетариата удержится в России сперва против натиска германского империализма, затем — в непрерывной войне с империализмом стран Согласия, мудрецы II Интернационала сочли бы такое предсказание смехотворным непониманием "соотношения сил".

Соотношение политических сил в каждый данный момент складывается под влиянием основных и производных факторов разной степени могущества и лишь в глубочайшей основе своей определяется уровнем развития производства. Социальное строение народа чрезвычайно отстает от развития производительных сил. Мелкая буржуазия и особенно крестьянство сохраняет свое существование долго после того, как их хозяйственные методы оставлены позади и осуждены производственно-техническим развитием общества. Сознание масс чрезвычайно отстает, в свою очередь, от развития социальных отношений; сознание старых социалистических партий на целую эпоху отстает от настроения масс; а сознание старых парламентских и тред-юнионистских вождей, более реакционное, чем сознание их партии, представляет собой окостеневший сгусток, который история не сумела до настоящего момента ни переварить, ни извергнуть. В мирную парламентскую эпоху, при устойчивости социальных отношений, психологический фактор — без вопиющих ошибок — клался в основу всех текущих расчетов: считалось, что парламентские выборы с достаточной полнотой отражают соотношение сил. Империалистическая война, нарушив равновесие буржуазного общества, обнаружила полную непригодность старых критериев, совершенно не затрагивающих тех глубоких исторических факторов, которые постепенно накапливались в предшествовавшую эпоху, а теперь сразу вышли наружу и определяют движение истории.

Политические рутинеры, неспособные обозреть исторический процесс в его сложности, во внутренних его несоответствиях и противоречиях, представляли себе дело так, будто история подготавливает социалистический строй одновременно и планомерно со всех сторон, так что концентрация производства и коммунистическая мораль производителя и потребителя зреют одновременно с электрическим плугом и парламентским большинством. Отсюда — чисто механическое отношение к парламентаризму, который в глазах большинства политиков II Интернационала столь же безошибочно показывал степень подготовленности общества к социализму, как манометр показывает силу давления пара. Между тем, нет ничего бессмысленнее такого механизированного представления о развитии общественных отношений.

Если восходить от производственной основы общества вверх по ступеням надстроек: классов, государства, права, партий и пр., — то можно установить, что косность каждой дальнейшей надстройки не просто присоединяется, а во многих случаях помножается на косность всех предшествующих. В результате политическое сознание групп, долго мнивших себя наиболее передовыми, обнаруживается в переломный момент как колоссальный тормоз исторического развития. Сейчас совершенно несомненно, что стоявшие во главе пролетариата партии II Интернационала, не смевшие, не умевшие и не хотевшие взять в свои руки власть в самый критический момент человеческой истории и поведшие пролетариат на путь империалистического взаимоистребления, оказались решающей силой контрреволюции.

Могущественные производительные силы, этот ударный фактор исторического движения, задыхались в тех отсталых надстроечных учреждениях (частная собственность и национальное государство), в которых они оказались замкнуты предшествующим развитием. Возвращенные капитализмом, производительные силы стучались во все стенки национально-буржуазного государства, требуя своего раскрепощения путем социалистической организации хозяйства в мировом масштабе. Косность социальных группировок; косность политических сил, оказавшихся неспособными разрушить старые классовые группировки; косность, тупоумие и предательство руководящих социалистических партий, взявших на себя фактически охрану буржуазного общества, — все это привело к стихийному возмущению производительных сил, в виде империалистической войны. Человеческая техника, самый революционный фактор истории, с накопленным десятилетиями могуществом восстала против отвратительного консерватизма и подлого тупоумия Шейдеманов, Каутских, Реноделей, Вандервельдов, Лонгэ и путем своих гаубиц, митральез, дредноутов и авионов учинила бешеный погром человеческой культуры.

Таким образом, причина бедствий, переживаемых ныне человечеством, состоит как раз в том, что развитие технического могущества человека над природой давно уже созрело для социализации хозяйства, — пролетариат занял в производстве место, которое целиком обеспечивает его диктатуру, между тем как наиболее сознательные силы истории — партии и их вожди — оказались еще в полной мере под гнетом старых предрассудков и лишь питали недоверие массы к самой себе. В недавние годы Каутский понимал это. "Пролетариат в настоящее время так окреп, — писал Каутский в брошюре "Путь к власти", — что он с большим спокойствием может ожидать надвигающейся войны. О преждевременной революции не может быть больше речи в то время, когда пролетариат извлек из данной государственной основы столько сил, сколько можно было из нее почерпнуть, и когда ее перестройка стала условием его дальнейшего подъема". С того момента, как развитие производительных сил, переросшее рамки национально-буржуазного государства, вовлекло человечество в эпоху кризисов и потрясений, сознание масс, действием грозных толчков, было выбито из относительного равновесия предшествовавшей эпохи. Рутинная и косность жизненного уклада, гипноз мирной легальности уже утратили над пролетариатом власть. Но он еще не стал сознательно и беззаветно на путь открытой революционной борьбы. Он колеблется, переживая последние моменты неустойчивого равновесия. В этот момент психологического сдвига роль верхушки — государственной власти, с одной стороны, революционной партии, с другой — получает колоссальное значение. Достаточно решительного толчка слева или справа, чтобы сдвинуть пролетариат — на известный период — в ту или другую сторону. Мы это видели в 1914 году, когда соединенным напором империалистских правительств и социал-патриотических партий рабочий класс был сразу выбит из равновесия и брошен на путь империализма. Мы видим затем, как испытания войны, контрасты ее результатов с ее первоначальными лозунгами революционно потрясают массы, делая их все более способными к открытому восстанию против капитала. В этих условиях наличность революционной партии, которая отдает себе ясный отчет в движущих силах нынешней эпохи и понимает исключительное место в их ряду революционного класса, которая знает его неисчерпаемые подспудные силы, которая верит в него, которая верит в себя, которая знает могущество революционного метода в эпоху неустойчивости всех социальных отношений, которая готова этот метод применять и доводит его до конца, — наличность такой партии представляет факт неопределимого исторического значения.

И, наоборот, пользующаяся традиционным влиянием социалистическая партия, которая не отдает себе отчета в том, что вокруг нее творится, не понимает революционной ситуации и потому не находит к ней ключа, которая не верит ни пролетариату, ни себе, — такая партия является в нашу эпоху самым вредным историческим тормозом, источником смуты и истощающего хаоса.

Такова ныне роль Каутского и его единомышленников. Они учат пролетариат не верить себе, а верить своему отражению в кривом зеркале демократии, которое сапогом милитаризма разбито на тысячу осколков. Решающими для революционной политики пролетариата должны быть с их точки зрения не международная ситуация, не фактическое крушение капитализма, не тот общественный распад, который этим порождается, не та объективная необходимость в господстве рабочего класса, которая вопиет из дымящихся обломков капиталистической цивилизации, — не это все должно определять политику революционной партии пролетариата, а тот подсчет голосов, который производят капиталистические табельщики парламентаризма. Всего несколько лет тому назад, повторяем, Каутский как бы понимал действительную сущность революционной проблемы. "Раз пролетариат представляет собой единственный революционный класс нации, — писал Каутский в своей брошюре "Путь к власти", — то отсюда следует, что всякое крушение современного строя, будь оно морального, финансового или военного характера, означает собой банкротство всех буржуазных партий, которые за все это ответственны, и что единственный выход из создавшегося тупика есть установление власти пролетариата". А ныне партия прострации и трусости, партия Каутского, говорит рабочему классу: "Вопрос не в том, являешься ли ты сейчас единственной творческой силой истории, способен ли ты отбросить прочь ту правящую разбойничью банду, в которую выродились имущие классы, вопрос не в том, что этой задачи никто не выполнит за тебя; вопрос не в том, что история не дает тебе отсрочки, ибо нынешнее состояние кровавого хаоса грозит погребсти в дальнейшем тебя самого под последними обломками капитализма, — вопрос в том, что правящим империалистским бандитам удалось вчера или сегодня обмануть, изнасиловать и обокрасть общественное мнение, собрав 51 % голосов против твоих 49. Да погибнет мир и да здравствует парламентское большинство!"

II. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

"Маркс и Энгельс выковали понятие диктатуры пролетариата, которую Энгельс в 1891 году, незадолго до своей смерти, упорно отстаивал, — понятие о политическом единовластии пролетариата, как единственной форме, в которой он может осуществлять государственную власть".

Так писал Каутский около десяти лет тому назад. Единственной формой власти пролетариата он считал не социалистическое большинство в демократическом парламенте, а политическое единовластие пролетариата, его диктатуру. И совершенно очевидно, что если задачу видеть в уничтожении частной собственности на средства производства, то единственным путем к ее разрешению явится сосредоточение всей полноты государственной власти в руках пролетариата, создание на переходный период такого исключительного режима, при котором господствующий класс руководствуется не общими нормами, рассчитанными на долгий период, а соображениями революционной целесообразности.

Диктатура необходима потому, что вопрос поставлен не о частных переменах, а о самом существовании буржуазии. На этой почве невозможно соглашение. Здесь решить может только сила. Единовластие пролетариата не исключает, разумеется, ни отдельных соглашений, ни значительных уступок, особенно по отношению к мелкой буржуазии и крестьянству. Но заключать эти соглашения пролетариат может, лишь овладев материальным аппаратом власти и обеспечив за собою возможность самостоятельного решения того, какие уступки давать и в каких отказывать в интересах социалистической задачи.

Теперь Каутский начисто отвергает диктатуру пролетариата, как "насилие меньшинства над большинством", т. е. характеризует революционный режим пролетариата теми самыми чертами, какими честные социалисты всех стран неизменно характеризовали диктатуру эксплуататоров, хотя бы и прикрытую формами демократии.

Отрекшись от революционной диктатуры, Каутский растворяет вопрос о завоевании власти пролетариатом в вопросе о завоевании социал-демократией большинства голосов в одной из будущих избирательных кампаний. Всеобщее избирательное право, согласно юридической фикции парламентаризма, дает выражение воли граждан всех классов нации, а стало быть открывает возможность привлечь на сторону социализма большинство. Пока эта теоретическая возможность не стала реальностью, социалистическое меньшинство должно повиноваться буржуазному большинству. Фетишизм парламентского большинства представляет собою грубое отречение не только от диктатуры пролетариата, но и от марксизма и революции вообще. Если принципиально подчинить социалистическую политику парламентскому таинству большинства и меньшинства, то в странах формальной демократии не будет вообще места для революционной борьбы. Если избранное на основании всеобщего голосования большинство выносит в Швейцарии драконовские постановления против стачечников, или если исполнительная власть, существующая волею формального большинства в Северной Америке, расстреливает рабочих, имеют ли "право" швейцарские и американские рабочие протестовать, применяя всеобщую забастовку? Очевидно, нет. Политическая стачка есть форма внепарламентского давления на "национальную волю", как она выразилась через посредство всеобщего голосования. Правда, сам Каутский как будто стесняется заходить так далеко, как того требует логика его новой позиции. Связанный какими-то остатками прошлого, он вынужден признавать допустимость внесения ко всеобщему избирательному праву поправок действием. Парламентские выборы, по крайней мере, в принципе, никогда не были для социал-демократов заменой реальной классовой борьбы, ее столкновений, отражений, наступлений, восстаний, — они были лишь вспомогательным элементом в этой борьбе, причем в одну эпоху играли большую, в другую — меньшую роль, чтобы в эпоху диктатуры вовсе сойти на нет.

В 1891 г., т. е. уже незадолго до своей смерти, Энгельс, как мы только что слышали, упорно отстаивал диктатуру пролетариата, как единственную форму его государственной власти. Сам Каутский не раз повторял это определение. Отсюда, между прочим, видно, какой недостойной фальсификацией является нынешняя попытка Каутского подкинуть нам диктатуру пролетариата, как специально русское будто бы изобретение.

Кто хочет цели, тот не может отказываться от средства. Борьба должна вестись с таким напряжением, чтобы действительно обеспечить единовластие пролетариата. Раз задача социалистического переворота требует диктатуры — "единственной формы, в которой пролетариат может осуществлять государственную власть", — стало быть, диктатура должна быть обеспечена во что бы то ни стало.

Чтобы написать брошюру о диктатуре, нужно иметь чернильницу и пачку бумаги, может быть, еще некоторое количество мыслей в голове. Но для того, чтобы установить и упрочить диктатуру, нужно воспрепятствовать буржуазии подрывать государственную власть пролетариата. Каутский, очевидно, полагает, что этого можно достигнуть плаксивыми брошюрами. Но его собственный опыт должен был бы показать ему, что недостаточно потерять влияние на пролетариат, чтобы приобрести влияние на буржуазию.

Обеспечить единовластие рабочего класса можно, только заставив привыкшую к господству буржуазию понять, что для нее слишком опасно восставать против диктатуры пролетариата, подрывать ее саботажем, заговорами, восстаниями, помощью иностранным войскам. Нужно заставить отброшенную от власти буржуазию повиноваться. Каким путем? Попы устрасали народ загробными карами. В нашем распоряжении таких ресурсов нет. Да и поповский ад никогда не стоял особняком, а сочетался с материальным огнем святой инквизиции, как и со скорпионами демократического государства. Не склоняется ли Каутский к мысли, что буржуазию можно обуздать при помощи категорического императива, который в его последних писаниях играет роль

духа святого? Мы можем со своей стороны лишь обещать ему практическое содействие в случае, если бы он решил снарядить кантиански-гуманитарную миссию в царство Деникина и Колчака. Во всяком случае, он получил бы там возможность убедиться в том, что контрреволюционеры не лишены от природы характера, а, благодаря шестилетнему пребыванию в огне и дыму войны, их характер успел приобрести крепкий закал. Каждый белогвардеец усвоил себе ту простую истину, что повесить коммуниста на суку легче, чем образумить его книжкой Каутского. Эти господа не питают суеверного страха ни к принципам демократии, ни к адскому пламени, тем более, что попы церкви и официальной науки действуют заодно с ними и обрушивают свои комбинированные молнии исключительно на головы большевиков. Русские белогвардейцы похожи на немецких и на всех других в том отношении, что их нельзя убедить или устыдить, а можно только утратить или раздавить.

Кто отказывается принципиально от терроризма, т. е. от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной и вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме.

Никакой теории социальной революции у Каутского в настоящее время нет. Каждый раз, когда он пытается обобщить свои наветы на революцию и диктатуру пролетариата, он преподносит подогретые предрассудки жоресизма [58] и бернштейнианства [59].

"Революция 1789 года, — пишет Каутский, — сама устранила важнейшие причины, которые придали ей столь жестокий и насильственный характер, и подготовила более мягкие формы будущей революции" (стр. 97). Допустим, что это так, хотя для этого нужно позабыть июньские дни 1848 года [60] и ужасы подавления Коммуны [61]. Допустим, что Великая Революция XVIII столетия, мерами беспощадного террора уничтожившая господство абсолютизма, феодализма и клерикализма, действительно подготовила условия более мирного и мягкого разрешения социальных вопросов. Но если даже признать это чисто либеральное положение, то и тут наш обличитель окажется кругом неправ, ибо русская революция, завершившаяся диктатурой пролетариата, началась именно с той работы, которая во Франции совершена была в конце XVIII столетия. Наши предки в прошлые столетия не позаботились подготовить — путем революционного террора — демократические условия для смягчения нравов нашей революции. Этическому мандарину Каутскому следовало бы учесть это обстоятельство и обвинять наших предков, а не нас.

Каутский как бы делает, впрочем, небольшую уступку в этом направлении. "Правда, — говорит он, — ни один проникательный человек не может сомневаться в том, что военную монархию, как немецкая, австрийская, русская, можно опрокинуть только при помощи насильственных средств. Но всегда думали при этом (кто?) меньше о кровавом применении оружия, больше о свойственном пролетариату средстве рабочего движения — о массовой стачке... Но что значительная часть пролетариата, оказавшись у власти, снова, как в конце XVIII столетия, даст выражение своей ярости и мести в пролитии крови — этого нельзя было ожидать. Это значило бы опрокинуть все развитие на голову" (стр. 101).

Понадобились, как видим, война и ряд революций, чтобы позволить, как следует, заглянуть в головы некоторых учнейших теоретиков и узнать, что там собственно делается. Оказывается, Каутский не думал, что Романова [62] или Гогенцоллерна [63] можно устранить путем разговоров, но в то же время он серьезно воображал, что военную монархию можно опрокинуть всеобщей стачкой, т. е. пассивной манифестацией скрещенных рук. Несмотря на русский опыт 1905 г. и мировую дискуссию по этому вопросу, Каутский сохранил, оказывается, анархо-реформистский взгляд на всеобщую стачку. Мы могли бы ему указать, что на страницах его собственного журнала "Neue Zeit" разъяснялось лет 12 тому назад, что всеобщая стачка — только мобилизация пролетариата и противопоставление его враждебной ему государственной власти, но что сама по себе стачка не может дать разрешения задачи, ибо скорее исчерпает силы пролетариата, чем его врагов, а это днем раньше или позже вынудит рабочих вернуться к станкам. Всеобщая стачка

может получить решающее значение, лишь как предпосылка столкновения пролетариата с вооруженными силами противной стороны, т. е. открытого революционного восстания рабочих. Только сломив волю противостоящей ему армии, революционный класс может разрешить проблему власти, основную задачу всякой революции. Всеобщая стачка приводит к мобилизации сил обеих сторон и дает первую серьезную проверку силы сопротивления контрреволюции, но только в дальнейшем развитии борьбы, после перехода на путь вооруженного восстания, можно определить ту кровавую цену, какую революционный класс должен заплатить за власть. Но что платить придется именно кровью, что в борьбе за завоевание власти и за ее обеспечение пролетариату придется не только умирать, но и убивать, — в этом не сомневался ни один серьезный революционер. Заявлять, что факт жесточайшей борьбы пролетариата с буржуазией, не на жизнь, а на смерть, "опрокидывает на голову все развитие", означает только, что головы некоторых почтенных идеологов представляют собою camera obscura, темную камеру, в которой предметы отражаются ногами вверх.

Но и в отношении более передовых и культурных стран, с продолжительными демократическими традициями, справедливость исторического положения Каутского ровно ничем не доказана. Впрочем, само положение не ново. Ревизионисты придавали ему некогда более принципиальный характер. Они доказывали, что рост пролетарских организаций в условиях демократии обеспечивает постепенный и незаметный — реформистский, эволюционный — переход к социалистическому режиму — без всеобщих стачек и восстаний, без диктатуры пролетариата.

Каутский доказывал в тот кульминационный период своей деятельности, что, несмотря на формы демократии, классовые противоречия капиталистического общества углубляются, и что этот процесс должен неизбежно привести к революции и к завоеванию власти пролетариатом.

Никто, разумеется, не пытался подсчитать заранее число жертв, какие будут вызваны революционным восстанием пролетариата и режимом его диктатуры. Но для всех было ясно, что число жертв определится силой сопротивления имущих классов. Если Каутский хочет своей книжкой сказать, что демократическое воспитание не смягчило классового эгоизма буржуазии, то это можно без дальнейших слов признать.

Если он хочет прибавить, что империалистская война, разразившаяся и свирепствовавшая четыре года, несмотря на демократию, содействовала огрубению нравов, приучила к насильственным способам действия и совершенно отучила буржуазию церемониться в деле истребления человеческих масс, — и тут он будет прав. Все это есть налицо. Но бороться приходится в тех именно условиях, какие есть. Сражаются не пролетарский и буржуазный гомункулусы [64], вышедшие из реторты Вагнера-Каутского, а реальный пролетариат против реальной буржуазии, какими они вышли из последней империалистической бойни народов.

В этом факте развертывающейся во всем мире беспощадной гражданской войны Каутский видит результат... пагубного отречения от "испытанной победоносной тактики" II Интернационала.

"В действительности с того времени, — пишет он, — как марксизм господствует в социалистическом движении, это последнее до мировой войны было ограждено при всех своих сознательных больших движениях от больших поражений. И мысль обеспечить себе победу путем террористического господства совершенно исчезла из его рядов.

"Много прибавило в этом отношении то обстоятельство, что в то время, как марксизм был господствующим социалистическим учением, демократия укоренилась в Западной Европе и начала там становиться из цели борьбы надежной основой политической жизни".

В этой "формуле прогресса" нет ни атома марксизма: реальный процесс борьбы классов, их материальных столкновений растворен в марксистской пропаганде, которая, благодаря условиям демократии, обеспечивает будто бы безболезненность перехода к новым, "более разумным", общественным формам. Это вульгарнейшее просветительство, запоздалый рационализм в духе XVIII столетия, с той разницей, что идеи Кондорсэ [65] заменены вульгаризацией

"Коммунистического Манифеста". Вся история сводится к непрерывной ленте печатной бумаги, и центром этого "гуманного" процесса оказывается заслуженный письменный стол Каутского.

Нам ставят в пример рабочее движение эпохи II Интернационала, которое, идя под знаменем марксизма, не терпело крупных поражений при своих сознательных выступлениях. Но ведь рабочее движение, весь мировой пролетариат и с ним вся человеческая культура потерпели неизмеримое поражение в августе 1914 года, когда история подводила итоги всем силам и способностям социалистических партий, в среде коих руководящая роль принадлежала будто бы марксизму на "прочной основе демократии". Эти партии оказались банкротами. Те черты их предшествующей работы, которые Каутский хотел бы теперь увековечить: приспособленчество, отказ от "нелегальных" действий, уклонение от открытой борьбы, надежды на демократию, как на путь к безболезненному перевороту — все это полетело прахом. Боясь поражения, удерживая при всех условиях массы от открытой борьбы, растворив в дискуссиях всеобщую стачку, партии II Интернационала подготовили свое ужасающее поражение, ибо не сумели пальцем о палец ударить, чтобы отстранить величайшую катастрофу мировой истории: четырехлетнюю империалистическую бойню, которая предопределила ожесточенный характер гражданской войны. Нужно, поистине, надеть ватный колпак не только на глаза, но и на нос и на уши, чтобы теперь, после бесславного крушения II Интернационала, после постыдного банкротства его руководящей партии — германской социал-демократии, после кровавого идиотизма мировой бойни и гигантского размаха гражданской войны, противопоставлять нам глубокомыслие, лояльность, миролюбие и трезвость II Интернационала, наследство которого мы ныне ликвидируем!

III. ДЕМОКРАТИЯ

"Либо демократия, либо гражданская война."

У Каутского есть ясный и единственный путь спасения: демократия. Нужно только, чтобы все признали ее и обязались подчиняться ей. Правые социалисты должны отказаться от кровавых насилий, которые они производят, выполняя волю буржуазии. Сама буржуазия должна отказаться от мысли при помощи своих Носке и поручиков Фогелей [66] отстаивать до конца свое привилегированное положение. Наконец, пролетариат должен раз навсегда отказаться от мысли сбросить буржуазию какими-либо другими средствами, кроме тех, которые предусмотрены конституцией. При соблюдении перечисленных условий социальная революция безболезненно растворится в демократии. Для успеха достаточно, как видим, чтобы наша бурная история надела на голову колпак и позаимствовалась мудростью из табакерки Каутского.

"Существуют только две возможности, — внушает наш мудрец: — либо демократия, либо гражданская война" (стр. 145). Однако же в Германии, где формальные элементы "демократии" налицо, гражданская война не утихает ни на час. "Безусловно, — соглашается Каутский, — при нынешнем Национальном Собрании Германия не может оздоровиться. Но процессу оздоровления мы не содействуем, а противодействуем, если борьбу против нынешнего Собрания превращаем в борьбу против демократического избирательного права" (стр. 152). Как будто в самом деле вопрос в Германии сводится к форме избирательного права, а не к реальному обладанию властью!

Нынешнее Национальное Собрание, признает Каутский, не может "оздоровить" страну. Поэтому? Поэтому начнем игру с начала. Но согласятся ли партнеры? Сомнительно. Если партия невыгодна нам, то она, очевидно, выгодна им. Национальное Собрание, которое "неспособно оздоровить" страну, вполне способно через посредство межеумочной диктатуры Носке подготовить "серьезную" диктатуру Людендорфа. Так было с Учредительным Собранием, которое подготовило Колчака. Историческое предназначение Каутского состоит как раз в том, чтобы, дождавшись переворота, написать n плюс первую брошюру, которая объяснит крушение революции всем ходом предшествующей истории, от обезьяны до Носке и от Носке до Людендорфа. Задача революционной партии иная: она состоит в том, чтобы своевременно предвидеть опасность и предупредить ее действием. А для этого нет сейчас другого пути, как вырвать власть из рук подлинных ее держателей, аграриев и капиталистов, только временно прячущихся за господ

Эбертов и Носке. Таким образом, от нынешнего Национального Собрания историческая дорога раздваивается: либо диктатура империалистической клики, либо диктатура пролетариата. К "демократии" путь не открывается ни с какой стороны. Каутский этого не видит. Он многословно разъясняет, что демократия имеет большое значение для политического развития и организационного воспитания масс, и что через нее пролетариат может прийти к полному освобождению (стр. 72). Можно подумать, что, со времени написания Эрфуртской программы [67], не произошло на свете ничего, достойного внимания!

Между тем, в течение десятилетий пролетариат Франции, Германии и других важнейших стран боролся и развивался, всесторонне используя учреждения демократии и создав на их основе могущественные политические организации. Этот путь воспитания пролетариата через демократию к социализму оказался, однако, прерван немаловажным событием — мировой империалистической войной. Классовому государству в момент, когда, по вине его, разразилась война, удалось, при помощи руководящих организаций социалистической демократии, обмануть пролетариат и вовлечь его в свою орбиту. Таким образом, сами по себе методы демократии при всех тех бесспорных выгодах, какие они давали в известную эпоху, обнаружили крайне ограниченную силу действия, так что воспитание двух поколений пролетариата в условиях демократии отнюдь не обеспечило необходимой политической подготовки для оценки такого события, как мировая империалистическая война. Этот опыт не дает никаких оснований утверждать, что если бы война разразилась позже на десять или пятнадцать лет, пролетариат оказался бы к ней политически более подготовленным. Буржуазно-демократическое государство не только создает более благоприятные, по сравнению с абсолютизмом, условия политического развития трудящихся, но и ограничивает это развитие пределами буржуазной легальности, искусно накапливая и закрепляя на верхах пролетариата оппортунистические навыки и легалистские предрассудки. Для того, чтобы поднять германский пролетариат на революцию, когда грозила катастрофа войны, школа демократии оказалась совершенно недостаточной. Понадобилась варварская школа войны, социал-империалистических надежд, величайших военных успехов и беспримерного поражения. После этих событий, которые кое-что изменили во вселенной и даже в Эрфуртской программе, выступать с общими местами о значении демократического парламентаризма для воспитания пролетариата — значит впасть в политическое детство. В этом и состоит несчастье Каутского.

"Глубокое недоверие к политической освободительной борьбе пролетариата, — пишет он, — к его участию в политике характеризовало прудонизм [68]. Ныне возникает подобный же (!) взгляд и рекомендуется, как новейший завет социалистического мышления, как продукт опыта, которого Маркс не знал и не мог знать; в действительности же это только вариация мысли, которой отроду пол-столетия, с которой Маркс боролся и которую преодолел" (стр. 58-59).

Большевизм оказывается... подогретым прудонизмом! В чисто теоретическом отношении это — одно из бесстыднейших утверждений брошюры.

Прудонисты отказывались от демократии потому же, почему вообще отказывались от политической борьбы. Они стояли за экономическую организацию рабочих без вмешательства государственной власти, без революционных переворотов, — за самопомощь рабочих на основе товарного хозяйства. Поскольку они ходом вещей толкались на путь политической борьбы, они, как мелкобуржуазные идеологи, предпочитали демократию не только плутократии, но и революционной диктатуре. Что же тут общего с нами? В то время как мы отвергли демократию во имя концентрированной власти пролетариата, — прудонисты, наоборот, готовы были мириться с демократией, разбавленной федеративным началом, чтобы избежать революционного единовластия рабочего класса. С несравненно большим основанием Каутский мог бы нас сравнить с противниками прудонистов, бланкистами [69], которые понимали значение революционной власти и вопрос об овладении ею не ставили суеверно в зависимость от формальных признаков демократии. Но, чтобы осмыслить сопоставление коммунистов с бланкистами, пришлось бы прибавить, что в лице рабочих и солдатских Советов мы располагали такой организацией переворота, о которой бланкисты не могли и мечтать; в лице нашей партии мы имели и имеем незаменимую организацию политического руководства с законченной программой социальной

революции; наконец, могучим аппаратом хозяйственных преобразований были и остаются наши профессиональные союзы, целиком стоящие под знаменем коммунизма и поддерживающие Советскую власть. При этих условиях говорить о возрожденных большевизмом предрассудках прудонизма можно, только растеряв последние остатки теоретической добросовестности и исторического смысла.

Империалистическое перерождение демократии

Слово "демократия" в политическом словаре недаром имеет двойное значение. С одной стороны, оно обозначает государственный режим, основанный на всеобщем избирательном праве и других атрибутах формального "самодержавия народа". С другой стороны, под именем демократии понимаются самые массы народные, поскольку они живут политической жизнью, причем, как в этом втором смысле, так и в первом, понятие демократии возвышается над классовыми различиями.

Эти особенности терминологии имеют свое глубокое политическое основание. Демократия, как политический строй, представляется тем более устойчивой, законченной, незыблемой, чем больше места в жизни страны занимает промежуточная, мало дифференцированная в классовом отношении масса населения, мелкая буржуазия города и деревни. Высшего своего расцвета в XIX столетии демократия достигла в Соединенных Штатах Северной Америки и в Швейцарии. По ту сторону океана государственная демократия федеративной республики опиралась на аграрную демократию фермерства. В маленькой Гельветической республике мелкая буржуазия городов и крепкое крестьянство составляли основу консервативной демократии соединенных кантонов.

Рожденное из борьбы третьего сословия против сил феодализма, демократическое государство становится уже очень скоро орудием противодействия классовым антагонизмам, развивающимся внутри буржуазного общества. Буржуазная демократия преуспевает в этом тем больше, чем шире под нею пласт мелкой буржуазии, чем больше значение последней в хозяйственной жизни страны, чем ниже, стало быть, развитие классовых противоречий. Однако, чем дальше, тем безнадежнее промежуточные классы отставали от исторического развития и тем более лишались возможности говорить от имени нации. Правда, мелкобуржуазные доктринеры (Бернштейн [70] и К^о) с удовлетворением доказывали, что исчезновение мелкобуржуазных классов происходит не с такой быстротой, как это предполагалось школой Маркса. Можно, действительно, согласиться с тем, что численно мелкобуржуазные элементы города и особенно деревни все еще сохраняют чрезвычайно крупное место. Но главное содержание развития сказалось в утрате мелкой буржуазией производственного значения: та масса ценностей, какую этот класс вносит в общий доход нации, падала несравненно быстрее, чем численность мелкой буржуазии. Соответственно с этим падало ее социальное, политическое и культурное значение. Историческое развитие все более опиралось не на эти унаследованные от прошлого консервативные слои, а на полярные классы общества, т. е. капиталистическую буржуазию и пролетариат.

Чем более мелкая буржуазия теряла свое социальное значение, тем менее она оказывалась способной играть роль авторитетного третейского судьи в исторической тяжбе между трудом и капиталом. Между тем, очень значительная численность городского мещанства и особенно крестьянства продолжала находить свое непосредственное выражение в избирательной статистике парламентаризма. Формальное равенство всех граждан, как избирателей, давало при этом лишь более открытое выражение неспособности "демократического парламентаризма" разрешить основные вопросы исторического развития. "Равный" голос для пролетария, крестьянина и руководителя треста ставил формально крестьянина в положение посредника между двумя антагонистами. На деле же крестьянство, социально и культурно отсталое, политически беспомощное, давало во всех странах опору для наиболее реакционных, авантюристских, сумбурных и продажных партий, которые в последнем счете всегда поддерживали капитал против труда.

Как раз наперекор всем пророчествам Бернштейна, Зомбарта [71], Тугана-Барановского [72] и др., живучесть промежуточных классов не смягчила, а до крайности обострила революционный кризис

буржуазного общества. Если бы пролетаризация мелкой буржуазии и крестьянства происходила в химически чистом виде, то мирное завоевание пролетариатом власти через посредство демократического парламентского аппарата было бы гораздо более вероятно, чем это мы видим теперь. Как раз тот факт, за который цеплялись сторонники мелкой буржуазии, — ее живучесть, — оказался роковым даже для внешних форм политической демократии после того, как капитализм подорвал ее существо. Занимая в парламентской политике место, какое утратила в производстве, мелкая буржуазия окончательно скомпрометировала парламентаризм, превратив его в учреждение растерянной болтовни и законодательной обструкции. Уже из этого одного выростала для пролетариата задача овладеть аппаратом государственной власти, как таковым, независимо от мелкой буржуазии и даже против нее, — не против ее интересов, а против ее тупоумия, ее неуловимой в своих бессильных метаниях политики.

"Империализм, — писал Маркс об империи Наполеона III, — есть самая проституционная и, вместе с тем, конечная форма государственной власти, которую... достигшая своего полного развития буржуазия превратила в орудие порабощения труда капиталу". Это определение шире режима французской империи и охватывает новейший империализм, порожденный мировыми притязаниями национального капитала великих держав. В экономической области империализм предполагал окончательное падение роли мелкой буржуазии; в области политической он означал полное уничтожение демократии путем ее внутренней молекулярной переработки и всестороннего подчинения всех ее средств и учреждений своим целям. Охватив все страны, независимо от их предшествующей политической судьбы, империализм показал, что ему чужды какие бы то ни было политические предрассудки, и что он одинаково готов и способен использовать, социально переродив и подчинив себе, монархию Николая Романова или Вильгельма Гогенцоллерна, президентское самодержавие Северо-Американских Штатов и беспомощность нескольких сот маргариновых законодателей французского парламента. Последняя великая бойня — кровавая купель, в которой пытался обновиться буржуазный мир, — предъявила нам картину невиданной в истории мобилизации всех государственных форм, систем правления, политических направлений, религий и философских школ на службе империализму. Даже многие из тех педантов, которые проспали подготовительный период империалистического развития последних десятилетий и продолжали к понятиям демократии, всеобщего голосования и пр. относиться по их традиционному смыслу, стали чувствовать во время войны, что привычные понятия наполнились каким-то новым содержанием. Абсолютизм, парламентская монархия, демократия. Перед лицом империализма — а стало быть, и перед лицом идущей ему на смену революции — все государственные формы буржуазного владычества, от русского царизма и до северо-американского квази-демократического федерализма, уравниены в правах и связаны в такие комбинации, при которых они нераздельно дополняют друг друга. Империализму удалось всеми имеющимися в его распоряжении средствами, в том числе и через парламент, независимо от избирательной арифметики голосов, целиком подчинить себе в критический момент мелкую буржуазию городов и деревень и даже верхи пролетариата. Национальная идея, под знаком которой поднялось к власти третье сословие, нашла в империалистической войне свое возрождение в лозунге национальной обороны. С неожиданной яркостью вспыхнула в последний раз национальная идеология за счет классовой. Крушение империалистских иллюзий не только у побежденных, но — с некоторым запозданием — и у победителей, окончательно подкосило то, что было некогда национальной демократией, и, вместе с нею, ее главное орудие — демократический парламент. Дряблость, дрянность и беспомощность мелкой буржуазии и ее партии выступили всюду с ужасающей очевидностью. Во всех странах вопрос государственной власти стал ребром, как вопрос открытого соразмерения сил между явно или закулисно господствующей капиталистической кликой, в распоряжении которой имеются сотни тысяч дрессированного, закаленного, ни перед чем не останавливающегося офицерства, и между восстающим революционным пролетариатом — при запуганности, растерянности и прострации промежуточных классов. Жалкими пустяками являются при этих условиях речи о мирном завоевании пролетариатом власти через посредство демократического парламентаризма.

Схема политического положения в мировом масштабе совершенно ясна. Приведя обескровленные и истощенные народы на край гибели, буржуазия, и в первую голову — буржуазия-победительница, обнаружила свою полную неспособность вывести их из ужасающего положения

и свою несовместимость с дальнейшим развитием человечества. Все промежуточные политические группировки, включая сюда в первую голову социал-патриотические партии, гниют заживо. Обманутый ими пролетариат с каждым днем все более поворачивается против них и укрепляется в своем революционном призвании, как единственная сила, могущая спасти народы от одичания и гибели. Однако история вовсе не обеспечила к этому моменту формального парламентского большинства за партией социальной революции. Другими словами — история не превратила нацию в дискуссионный клуб, который чинно вотирует переход к социальной революции большинством голосов. Наоборот, насильственная революция явилась необходимостью именно потому, что неотложные потребности истории оказались бессильны проложить себе дорогу через аппарат парламентской демократии. Капиталистическая буржуазия рассчитывает: "До тех пор, пока в моих руках земля, заводы, фабрики, банки, пока я владею газетами, университетами, школами, пока — и это главное — в моих руках управление армией, — до тех пор аппарат демократии, как бы вы его ни перестраивали, останется покорен моей воле. Я духовно подчиняю себе тупую, консервативную, безвольную мелкую буржуазию, как она подчинена мне материально. Я подавляю и буду подавлять ее воображение могуществом моих сооружений, моих барышей, моих планов и моих преступлений. В моменты ее недовольства и ропота я создам десятки предохранительных клапанов и громоотводов. Я вызову в нужный час к жизни оппозиционные партии, которые завтра исчезнут, но сегодня выполняют свою миссию, дав возможность мелкой буржуазии проявить свое возмущение без вреда для капитализма. Я буду держать народные массы при режиме обязательного общего обучения на границе полного невежества, не давая им подняться выше того уровня, который мои эксперты духовного рабства признают безопасным. Я буду развращать, обманывать и устрашать более привилегированные или более отсталые слои самого пролетариата. Совокупностью всех этих мер я не дам авангарду рабочего класса овладеть сознанием большинства народа, доколе необходимые орудия подчинения и устрашения останутся в моих руках".

На это революционный пролетариат отвечает: "Стало быть, первым условием спасения является изъятие из рук буржуазии орудий господства. Безнадежна мысль мирно прийти к власти при сохранении в руках буржуазии всех орудий владычества. Трижды безнадежна мысль прийти к власти на том пути, который буржуазия сама указывает и в то же время баррикадирует, — на пути парламентской демократии. Путь один: вырвать власть, отняв у буржуазии материальный аппарат господства. Независимо от поверхностного соотношения сил в парламенте, я возьму в общественное распоряжение главные силы и средства производства. Я освобожу сознание мелкобуржуазных классов от капиталистического гипноза. Я на деле покажу им, что значит социалистическое производство. Тогда даже наиболее отсталые, темные или запуганные слои народа поддержат меня, добровольно и сознательно примкнув к работе социалистического строительства".

Когда русская Советская власть разогнала Учредительное Собрание [73], этот факт показался руководящим западно-европейским социал-демократам если не началом светопреставления, то во всяком случае грубым и произвольным разрывом со всем предшествовавшим развитием социализма. Между тем, это был только неизбежный вывод из того нового положения, какое было подготовлено империализмом и войною. Если на путь подведения теоретических и практических итогов первым вступил русский коммунизм, то это по тем же историческим причинам, по которым русский пролетариат первым оказался вынужден вступить на путь борьбы за власть.

Все, что происходило после того в Европе, свидетельствует, что вывод был сделан нами правильно. Думать, что возможно восстановить демократию в ее непорочности, значит питаться жалкими реакционными утопиями.

Метафизика демократии

Чувствуя под ногами зыбкость исторической почвы в вопросе о демократии, Каутский переходит на почву нормативной философии. Вместо исследования того, что есть, он рассуждает о том, что должно бы быть.

Принципы демократии — суверенитет народа, всеобщее и равное избирательное право, свободы — выступают у него в ореоле нравственного должностования. Они отвлекаются от своего исторического содержания и изображаются незыблемыми и священными сами по себе. Это метафизическое грехопадение не случайно. Крайне поучительно, что и покойник Плеханов, беспощадный противник кантианства в течение лучшей поры своей деятельности, попытался под конец жизни, когда его захлестнула волна патриотизма, ухватиться за соломинку категорического императива...

Той реальной демократии, с которой теперь немецкий народ сводит опытное знакомство, Каутский противопоставляет некую идеальную демократию, как вульгарному явлению — вещь в себе. Каутский не указывает с уверенностью ни одной страны, демократия которой действительно способна обеспечить безболезненный переход к социализму. Зато он твердо знает, что такая демократия должна быть. Нынешнему германскому Национальному Собранию, этому органу беспомощности, реакционной злобности и униженного искательства, Каутский противопоставляет другое, настоящее, истинное Национальное Собрание, которое имеет все преимущества, кроме небольшого преимущества... реальности.

Доктриной формальной демократии является не научный социализм, а теория так называемого естественного права. Сущность последней состоит в признании вечных и неизменных правовых норм, которые у разных народов и в разные эпохи находят различное, более или менее ограниченное и искаженное выражение. Естественное право новой истории, т. е. такое, каким оно вышло из средних веков, заключало в себе прежде всего протест против сословных привилегий, злоупотреблений деспотического законодательства и других "искусственных" продуктов феодального положительного права. Идеологи еще слишком слабого третьего сословия давали выражение его классовым интересам в некоторых идеальных нормах, которые в дальнейшем развернулись в учение о демократии, приобретая при этом индивидуалистический характер. Личность есть самоцель, все люди имеют право высказывать устно и печатно свои мысли, каждый человек должен пользоваться одинаковым избирательным правом. Как боевое знамя против феодализма, требования демократии имели прогрессивный характер. Чем дальше, однако, тем больше метафизика естественного права (= теория формальной демократии) выдвигала свою реакционную сторону: установление контроля идеальной нормы над реальными требованиями рабочих масс и революционных партий.

Если оглянуться на историческое чередование миросозерцаний, то теория естественного права представится очищенным от грубой мистики пересказом христианского спиритуализма. Евангелие объявило рабу, что у него такая же душа, как и у рабовладельца, и таким образом установило равенство всех людей перед небесным трибуналом. На деле раб оставался рабом, и повиновение вменялось ему в религиозный долг. В учении христианства раб находил мистическое выражение собственному темному протесту против своего униженного состояния. На ряду с протестом также и утешение. Христианство говорило ему: "у тебя бессмертная душа, хотя ты и похож на вьючного осла". Тут звучала нота возмущения. Но то же христианство говорило: "пусть ты подобен вьючному ослу, но зато твоей бессмертной душе уготовано вечное воздаяние". Тут слышен голос утешения. Эти две ноты сочетались в историческом христианстве по разному в различные эпохи и у разных классов. Но в общем христианство, подобно всем другим религиям, стало орудием усыпления совести угнетенных масс.

Естественное право, развившись в теорию демократии, говорило рабочему: все люди равны перед законом, независимо от их происхождения, их имущественного положения и выполняемой ими роли; каждый имеет равное право голоса в определении судеб народа. Эта идеальная норма революционизировала сознание масс, поскольку являлась осуждением абсолютизма, аристократических привилегий, имущественного ценза. Но чем дальше, тем больше она усыпляла сознание, легализуя нужду, рабство и унижение; ибо как же восставать против порабощения, раз каждый имеет равное право голоса в определении народных судеб?

Ротшильд [74], который кровь и слезы мира перечеканил в наполеондоры своих барышей, имеет один голос на парламентских выборах. Темный землекоп, который не умеет подписать имени, всю

жизнь спит не раздеваясь и бродит в обществе, как подземный крот, является, однако, носителем народного суверенитета и равен Ротшильду перед судом и на выборах в парламент. В реальных условиях жизни, в хозяйственном процессе, в социальных отношениях, в быту люди становились все более и более неравны друг другу: нагромождение ослепительной роскоши на одном полюсе, бедность и безнадежность — на другом. Но в области государственно-правовой надстройки эти зияющие противоречия исчезали; туда проникали лишь бесплотные юридические тени. Помещик, батрак, капиталист, пролетарий, министр, чистильщик сапог — все равны, как "граждане", как "законодатели". Мистическое равенство христианства сделало с небес шаг вниз в лице естественно-правового равенства демократии. Но оно не спустилось на землю к экономическому фундаменту общества. Для темного поденщика, который всю свою жизнь оставался вьючным скотом на службе буржуазии, идеальное право влиять на судьбы народа через посредство парламентских выборов оставалось немногим более реально, чем то блаженство, которое было обещано ему в царствии небесном.

В практических интересах развития рабочего класса социалистическая партия стала в известную эпоху на путь парламентаризма. Но это вовсе не значило, что она принципиально признала метафизическую теорию демократии, покоящуюся на началах над-исторического, над-классового права. Пролетарская доктрина рассматривала демократию, как служебный инструмент буржуазного общества, целиком приспособленный к задачам и потребностям господствующих классов. Но так как буржуазное общество жило трудом пролетариата и не могло отказать ему в легализации некоторой части его классовой борьбы, не разрушая себя, то этим открывалась для социалистической партии возможность использовать в известный период и в известных пределах механику демократии, отнюдь не присягая ей, как незыблемому принципу.

Основная задача партии во все эпохи ее борьбы состояла в том, чтобы создать условия реального, хозяйственного, бытового равенства для людей, как членов солидарного человеческого общежития. Именно поэтому и для этого теоретики пролетариата должны были разоблачить метафизику демократии, философское прикрытие политических мистификаций.

Если демократическая партия в эпоху своего революционного подъема, разоблачая гнетущую и усыпляющую ложь церковной догмы, проповедовала массам: "вас убаюкивают вечным блаженством по ту сторону жизни, а здесь вы неправы и опутаны цепями произвола", — то социалистическая партия несколькими десятилетиями спустя с не меньшим правом говорила тем же массам: "вас усыпляют фикцией гражданского равенства и политических прав, но у вас отнята возможность реализовать эти права; условное и призрачное юридическое равенство превращено в идеальную цепь каторжника, к которой каждый из вас прикован к колеснице капитала".

Во имя своей основной задачи, социалистическая партия мобилизовала массы также и на основе парламентаризма, но нигде и никогда партия, как таковая, не обязывалась привести массы к социализму не иначе, как через ворота демократии. Приспособляясь к парламентскому режиму, мы ограничивались в предшествующую эпоху теоретическим разоблачением демократии, потому что были еще слишком слабы, чтобы практически преодолеть ее. Но идейная орбита социализма, которая вырисовывается сквозь все уклонения, падения и даже измены, предопределила именно такой исход: отбросить демократию и заменить ее рабочим механизмом пролетариата в тот момент, когда этот последний окажется достаточно силен для выполнения такой задачи.

Мы приведем одно свидетельство, но достаточно яркое. "Парламентаризм, — писал Поль Лафарг [75], в русском сборнике "Социал-Демократ" в 1888 г., — есть такая правительственная система, при которой у народа является иллюзия, будто он сам управляет делами страны, тогда как в действительности фактическая власть сосредоточивается при этом в руках буржуазии, и даже не всей буржуазии, а лишь некоторых слоев этого класса. В первый период своего господства буржуазия не понимает или, вернее, не чувствует необходимости создавать для народа иллюзию самоуправления. Поэтому все парламентские страны Европы начинали с ограниченной подачи голосов; повсюду право давать направление политике страны, посредством избрания депутатов, принадлежало вначале лишь более или менее крупным собственникам и затем уже постепенно

распространялось на менее состоятельных граждан, пока, в некоторых странах, не превратилось из привилегии во всеобщее право всех и каждого.

"В буржуазном обществе, чем значительнее становится масса общественного богатства, тем меньшим и меньшим числом личностей она присваивается; то же происходит и с властью: по мере того, как растет масса граждан, обладающих политическими правами, и увеличивается число избираемых правителей, действительная власть сосредоточивается и становится монополией все меньшей и меньшей группы личностей". Таково таинство большинства.

Для марксиста Лафарга парламентаризм остается до тех пор, пока сохраняется господство буржуазии. "В тот день, — пишет Лафарг, — когда пролетариат Европы и Америки овладеет государством, он должен будет организовать революционную власть и диктаторски управлять обществом, пока буржуазия не исчезнет, как класс".

Каутский в свое время знал эту марксистскую оценку парламентаризма и не раз повторял ее сам, хотя и не с такой галльской ясностью и остротой. Теоретическое отступничество Каутского в том именно и состоит, что, признав принцип демократии абсолютным и неизменным, он от материалистической диалектики вернулся вспять к естественному праву. То, что было разоблачено марксизмом, как передаточный механизм буржуазии, и лишь подлежало временному политическому использованию, в целях подготовки революции пролетариата, снова освящено Каутским, как верховное начало, стоящее над классами и безусловно подчиняющее себе методы пролетарской борьбы. Контрреволюционное вырождение парламентаризма нашло свое наиболее законченное выражение в обоготворении демократии упадочными теоретиками II Интернационала.

Учредительное собрание

Вообще говоря, достижение партией пролетариата большинства в демократическом парламенте не является безусловной невозможностью. Но такой факт, даже если бы он осуществился, не вносил бы ничего принципиально нового в развитие событий. Промежуточные элементы интеллигенции, под влиянием парламентской победы пролетариата, оказали бы, может быть, меньшее противодействие новому режиму. Но основное сопротивление буржуазии определялось бы такими факторами, как настроение армии, степень вооружения рабочих, положение в соседних государствах; и гражданская война развивалась бы под давлением этих реальнейших обстоятельств, а не зыбкой арифметики парламентаризма.

Наша партия не отказывалась открыть дорогу диктатуре пролетариата через ворота демократии, отдавая себе ясный отчет в известных агитационно-политических преимуществах такого "легализованного" перехода к новому режиму. Отсюда наша попытка созвать Учредительное Собрание. Эта попытка потерпела неудачу. Русский крестьянин, только пробужденный революцией к политической жизни, оказался лицом к лицу с полудюжиной партий, из которых каждая как бы поставила себе целью сбить его с толку. Учредительное Собрание стало поперек пути революционному движению — и было сметено.

Соглашательское большинство Учредительного Собрания представляло собою только политическое отражение недомыслия и нерешительности промежуточных слоев города и деревни и более отсталых частей пролетариата. Если стать на точку зрения отвлеченных исторических возможностей, то можно сказать, что было бы менее болезненно, если бы Учредительное Собрание, проработав год-два, окончательно дискредитировало эсеров и меньшевиков их связью с кадетами и тем привело бы к формальному перевесу большевиков, показав массам, что на деле существуют лишь две силы: революционный пролетариат, руководимый коммунистами, и контрреволюционная демократия, возглавляемая генералами и адмиралами. Но вся суть в том, что темп развития внутренних отношений революции вовсе не шел нога в ногу с темпом развития международных отношений. Если бы наша партия возложила всю ответственность на объективную педагогику "хода вещей", то развитие военных событий могло опередить нас. Германский империализм мог овладеть Петербургом, к эвакуации которого правительство

Керенского приступило вплотную. Гибель Петербурга означала бы тогда смертельный удар пролетариату, ибо все лучшие силы революции сосредоточивались там, в Балтийском флоте и в красной столице.

Нашу партию можно обвинять, следовательно, не в том, что она пошла наперекор историческому развитию, а в том, что она совершила прыжок через несколько политических ступенек. Она перешагнула через голову меньшевиков и эсеров, чтобы не дать германскому милитаризму перешагнуть через голову русского пролетариата и заключить мир с Антантой на спине революции прежде, чем она успеет на весь мир расправить свои крылья.

Из сказанного не трудно вывести ответы на те два вопроса, которыми донимает нас Каутский. Во-первых, зачем мы созывали Учредительное Собрание, раз имели в виду диктатуру пролетариата? Во-вторых, если первое Учредительное Собрание, которое мы сочли нужным созвать, оказалось отсталым и не отвечающим интересам революции, почему отказываемся мы от созыва нового Учредительного Собрания? Задняя мысль Каутского та, что мы отвергли демократию не по принципиальным причинам, а только потому, что она оказалась против нас. Чтобы поймать эту инсинуацию за ее длинные уши, восстановим факты.

Лозунг "вся власть Советам" был выдвинут нашей партией с самого начала революции, т. е. задолго не только до роспуска Учредительного Собрания, но и до декрета об его созыве. Правда, мы не противопоставляли Советов будущему Учредительному Собранию, созыв которого все более оттягивался правительством Керенского [76] и потому становился все более проблематичным, но мы, во всяком случае, не рассматривали Учредительного Собрания, по образцу мелкобуржуазных демократов, как будущего хозяина земли русской, который придет и все разрешит. Мы выяснили массам, что подлинным хозяином могут и должны стать революционные организации самих трудящихся масс — Советы. Если мы не отвергли формально Учредительного Собрания заранее, то потому лишь, что оно противопоставлялось не власти Советов, а власти самого Керенского, который, в свою очередь, был только вывеской буржуазии. При этом нами было решено заранее, что если бы в Учредительном Собрании большинство оказалось за нас, то Учредительное Собрание должно было распустить себя, передав власть Советам, как это сделала впоследствии Петербургская городская дума, избранная на основе самого демократического избирательного права. В своей книжке "Октябрьская Революция" я старался выяснить те причины, по которым Учредительное Собрание явилось запоздалым отражением эпохи, уже превзойденной революцией. Так как организацию революционной власти мы видели только в Советах и так как ко времени созыва Учредительного Собрания Советы были уже фактической властью, то вопрос и решался для нас неизбежно в сторону насильственного роспуска Учредительного Собрания, которое само не желало распустить себя в пользу власти Советов.

Терроризм и коммунизм

Но почему, — спрашивает Каутский, — вы не созываете нового Учредительного Собрания?

Потому, что не видим в нем нужды. Если первое Учредительное Собрание могло еще сыграть мимолетную прогрессивную роль, дав убедительную для мелкобуржуазных элементов санкцию режиму Советов, который только устанавливался, то теперь, после двух лет победоносной диктатуры пролетариата и полного крушения всех демократических попыток в Сибири, на беломорском побережье, на Украине, на Кавказе, — власть Советов, поистине, не нуждается в освящении подмоченным авторитетом Учредительного Собрания. Не в праве ли мы в таком случае заключить, — вопрошает Каутский в тон Ллойд-Джорджу, — что Советская власть правит волею меньшинства, раз она уклоняется от проверки своего господства всеобщим голосованием? Вот удар, который бьет мимо цели!

Если парламентский режим даже в эпоху "мирного", устойчивого развития был довольно грубым счетчиком настроений в стране, а в эпоху революционной бури совершенно утратил способность поспевать за ходом борьбы и развитием политического сознания, то советский режим,

несравненно ближе, органичнее, честнее связанный с трудящимся большинством народа, главное свое значение полагает не в том, чтобы статически отражать большинство, а в том, чтобы динамически формировать его. Вставши на путь революционной диктатуры, рабочий класс России тем самым сказал, что свою политику в переходный период он строит не на призрачном искусстве соревнования с хамелеонскими партиями в целях уловления крестьянских голосов, а на фактическом вовлечении крестьянских масс, рука об руку с пролетариатом, в дело управления страной в подлинных интересах трудящихся масс. Эта демократия поглубже парламентаризма!

Сейчас, когда главная задача — вопрос жизни и смерти — революции состоит в военном отпоре бешеному натиску белогвардейских банд, думает ли Каутский, что какое угодно парламентское "большинство" способно обеспечить более энергичную и самоотверженную, более победоносную организацию революционной обороны? Условия борьбы настолько отчетливы в революционной стране, сдавленной за горло подлым кольцом блокады, что перед всеми промежуточными классами и группами остается лишь возможность выбора между Деникиным и Советской властью. Какое нужно еще доказательство, когда даже партии, межеумочные по принципу, как меньшевики и эсеры, раскололись по той же самой линии!

Предлагая нам выборы в учредилку, полагает ли Каутский приостановить на время выборов гражданскую войну? Чьим решением? Если он намеревается привести для этого в движение авторитет II Интернационала, то спешим его предупредить, что это учреждение пользуется у Деникина лишь немного большим авторитетом, чем у нас. Поскольку же война между рабоче-крестьянской армией и бандами империализма продолжается, и выборы должны по необходимости ограничиться советской территорией, хочет ли Каутский требовать, чтоб мы позволили открыто выступать партиям, которые поддерживают Деникина против нас? Пустая и презренная болтовня: ни одно правительство никогда и ни при каких условиях не может позволить воюющей с ним стороне в тылу у собственных армий мобилизовать вражеские силы.

Не последнее место в вопросе занимает и тот факт, что цвет трудового населения находится сейчас в действующих войсках. Передовые пролетарии и наиболее сознательные крестьяне, которые при всяких выборах, как и при всяком массовом политическом действии, стоят на первом месте, направляя общественное мнение трудящихся, они все сейчас борются и умирают в качестве командиров, комиссаров или рядовых бойцов Красной Армии. Если самые "демократические" правительства буржуазных государств, режим которых основан на парламентаризме, считали невозможным во время войны производить выборы в парламент, то тем более бессмысленно требовать таких выборов во время войны от Советской Республики, режим которой ни в малой мере не основан на парламентаризме. Вполне достаточно того, что своим выборным учреждениям — местным и центральным Советам — революционная власть России не препятствовала в самые тяжкие месяцы и дни обновляться путем периодических перевыборов.

Наконец, в качестве последнего довода — *the last not least*, — приходится к сведению Каутского сказать, что даже русские каутскианцы, меньшевики, как Мартов и Дан [77], не считают возможным выдвигать в настоящее время требование Учредительного Собрания, откладывая его до лучшего будущего. Понадобится ли оно тогда? В этом позволительно усомниться. Когда закончится гражданская война, диктатура рабочего класса раскроет всю свою творческую силу и на деле покажет наиболее отсталым массам, что может им дать. Путем планомерно проведенной трудовой повинности и централизованной организации распределения все население страны будет вовлечено в общесоветскую систему хозяйства и самоуправления. Сами Советы, ныне органы власти, постепенно растворятся в чисто-хозяйственных организациях. При этих условиях вряд ли кому придет в голову над реальной тканью социалистического общества воздвигать архаическое увенчание в виде Учредительного Собрания, которому пришлось бы только констатировать, что все нужное "учреждено" уже до него и без него*.

IV. ТЕРРОРИЗМ

Главной темой книжки Каутского является терроризм. Воззрение, будто терроризм принадлежит к существу революции, Каутский объявляет широко распространенным заблуждением. Неверно, будто бы тот, "кто хочет революции, должен мириться с терроризмом". Что касается его, Каутского, то он, вообще говоря, за революцию, но решительно против терроризма. Дальше, однако, начинаются затруднения.

"Революция приносит нам, — жалуется Каутский, — кровавый терроризм, проводимый социалистическими правительствами. Большевики в России вступили первые на этот путь и суровейшим образом осуждались поэтому всеми социалистами, не стоявшими на большевистской точке зрения, в том числе и социалистами немецкого большинства. Но как только последние почувствовали себя угрожаемыми в своем господстве, они прибегли к методам того же террористического режима, который они клеймили на востоке" (стр. 9). Казалось бы, отсюда следовало сделать вывод, что терроризм гораздо глубже связан с природой революции, чем это думали кой-какие мудрецы. Но Каутский делает вывод прямо противоположный: гигантское развитие белого и красного терроризма во всех последних революциях — русской, германской, австрийской и венгерской — свидетельствует для него о том, что эти революции отклонились от своего подлинного пути и оказались не теми революциями, какими они должны бы быть согласно теоретическим сновидениям Каутского. Не углубляясь в обсуждение вопроса, — "имманентен" ли терроризм, "как таковой", революции, "как таковой", остановимся на примере нескольких революций, как они проходили перед нами в живой человеческой истории.

Напомним сперва религиозную реформацию [78], вошедшую водоразделом между средневековой и новой историей: чем более глубокие интересы народных масс она захватывала, тем шире был ее размах, тем свирепее разворачивалась под религиозным знаменем гражданская война, тем беспощаднее становился на обеих сторонах террор.

В семнадцатом веке Англия проделала две революции: первая, вызвавшая большие социальные потрясения и войны, привела, между прочим, к казни короля Карла I, а вторая — благополучно завершилась восшествием на престол новой династии. Английская буржуазия и ее историки совершенно по разному относятся к этим революциям: первая для них — бесчинство черни, "великий бунт"; за второй укрепилось название "славной революции". Причину такого различия в оценках разъяснил еще французский историк Огюстен Тьерри [79]. В первой английской революции, в "великом бунте", действующим лицом был народ, во второй — он почти "безмолвствовал". Отсюда вытекает, что в обстановке классового рабства трудно обучить угнетенные массы хорошим манерам. Выведенные из себя, они действуют поленом, камнем, огнем и веревкой. Придворные историки эксплуататоров бывают оскорблены. Но великим событием в историю новой (буржуазной) Англии вошла, тем не менее, не "славная" революция, а "великий бунт".

Величайшим после реформации и "великого бунта" событием новой истории, далеко превосходящим два предшествующие по значению, является Великая Французская Революция XVIII столетия. Этой классической революции отвечал классический терроризм. Каутский готов простить террор якобинцам, признавая, что другими мерами им бы не спасти республики. Но от этого оправдания задним числом никому ни тепло, ни холодно. Каутские конца XVIII столетия (лидеры французских жирондистов [80]) видели в якобинцах [81] исчадие зла. Вот достаточно поучительное в своей банальности сопоставление якобинцев с жирондистами под пером одного из мещанских французских историков. "Как одни, так и другие хотели республики"... Но жирондисты "хотели республики свободной, законной, милостивой. Монтаньяры желали (!) республики деспотической и ужасной. И те и другие стояли за верховную власть народа; но жирондисты справедливо понимали под народом всех; для монтаньяров же... народом был лишь трудящийся класс; поэтому одним этим людям и должно было, по мнению монтаньяров, принадлежать господство". Антитеза между великодушными рыцарями учредилки и кровожадными проводниками революционной диктатуры намечена здесь достаточно полно только в политических терминах эпохи.

Железная диктатура якобинцев была вызвана чудовищно-тяжким положением революционной Франции. Вот как рассказывает об этом буржуазный историк: "Иностранные войска вступили с четырех сторон на французскую территорию: с севера — англичане и австрийцы, в Эльзасе — пруссаки, в Дофинэ и до Лиона — пьемонтцы, в Руссильоне — испанцы. И это в такое время, когда гражданская война свирепствовала в четырех различных пунктах: в Нормандии, в Вандее, в Лионе и в Тулоне" (стр. 176). К этому надо прибавить внутренних врагов, в виде многочисленных тайных сторонников старого порядка, готовых всеми средствами помогать неприятелю.

Суровость пролетарской диктатуры в России — скажем тут же — была обусловлена не менее тяжкими обстоятельствами. Сплошной фронт на севере и юге, западе и востоке. Кроме русских белогвардейских армий Колчака, Деникина и пр., против Советской России выступают одновременно или поочередно: немцы и австрийцы, чехо-словаки, сербы, поляки, украинцы, румыны, французы, англичане, американцы, японцы, финны, эстонцы, литовцы... В стране, охваченной блокадой, задыхающейся от голода, непрерывные заговоры, восстания, террористические акты, разрушение складов, путей и мостов.

"У правительства, взявшего на себя борьбу с бесчисленными внешними и внутренними врагами, не было ни денег, ни достаточного войска — ничего, кроме безграничной энергии, горячей поддержки со стороны революционных элементов страны и громадной смелости принимать все меры для спасения родины, как бы произвольны, незаконны и суровы они ни были". Такими словами характеризовал некогда Плеханов правительство... якобинцев ("Социал-Демократ". Трехмесячное литературно-политическое обозрение. 1890 г., февраль, книга первая. Лондон. Статья "Столетие Великой Революции", стр. 6-7).

* *Чтобы прельстить нас в пользу Учредительного Собрания, на помощь доводам от категорического императива Каутский приводит аргумент от валюты. "России необходима, — пишет он, — помощь иностранного капитала, но эта помощь не придет к Советской Республике, если последняя не созывает Учредительного Собрания и не даст свободы печати, не потому, чтобы капиталисты были демократическими идеалистами, — они царизму давали без размышления многие миллиарды, — но они не имеют делового доверия к революционному правительству" (стр. 144). В этой пачкотне есть осколки истины. Биржа действительно поддерживала правительство Колчака, когда он опирался на Учредительное Собрание. Но биржа стала еще энергичнее поддерживать Колчака, когда он разогнал Учредительное Собрание. На опыте Колчака биржа укрепилась в своем убеждении, что механика буржуазной демократии может быть использована в капиталистических целях, а затем отброшена, как изношенная портянка. Вполне возможно, что биржа снова дала бы некоторую предварительную ссуду под залог Учредительного Собрания в убеждении, вполне обоснованном прошлым опытом, что Учредительное Собрание явится только переходной ступенью к капиталистической диктатуре. Покупать "деловое доверие" биржи такою ценою мы не собираемся и решительно предпочитаем то "доверие", которое внушает реалистической бирже оружие Красной Армии.*

Обратимся к революции, которая произошла во второй половине XIX столетия, в стране "демократии", в Соединенных Штатах Северной Америки. Хотя речь шла отнюдь не об отмене частной собственности вообще, а только об отмене собственности на чернокожих, тем не менее, учреждения демократии оказались совершенно неспособны мирным путем разрешить конфликт. Южные штаты, разбитые на выборах президента в 1860 году, решили какими угодно мерами вернуть себе влияние, которым они до того располагали в интересах рабовладения, и, произнося, как полагается, звонкие слова о свободе и независимости, встали на путь рабовладельческого мятежа. Отсюда неизбежно вытекли все дальнейшие последствия гражданской войны. Уже в самом начале борьбы военная власть в Балтиморе заключила в форт Мак-Гэнри несколько граждан, сторонников рабовладельческого юга, несмотря на "habeas corpus". Вопрос о законности или незаконности подобных действий сделался предметом горячего спора между так называемыми "высшими авторитетами". Верховный судья Тэней решил, что президент не имеет права ни останавливать действие "habeas corpus", ни давать на то полномочия военным властям. "Таково, по всей вероятности, правильное конституционное разрешение этого вопроса, — говорит один из первых историков американской войны. — Но положение дел было до такой степени критическое, и необходимость принять решительные меры против населения Балтимора до такой степени велика, что не только правительство, но и народ Соединенных Штатов поддерживал самые энергичные меры" ("История американской войны", соч. Флетчера, подполковника гвардейских шотландских стрелков, перевод с английского, С.-Петербург 1867 г., стр. 95).

Некоторые предметы, в которых нуждался мятежный юг, доставлялись тайно северными купцами. Конечно, северянам не оставалось ничего другого, как прибегнуть к репрессиям. 6 августа 1861 г. утверждено было президентом постановление конгресса "о конфискации собственности, употребляемой для инсurreкционных целей". Народ, в лице наиболее демократических слоев, был в пользу крайних мер, республиканская партия имела на севере решительное преобладание, и люди, подозреваемые в сепаратизме, т. е. поддержке раскольнических южных штатов, подвергались насилию. В некоторых северных городах и даже в славившихся своими порядками штатах Новой Англии народ нередко врывается в конторы журналов, поддерживавших мятежных рабовладельцев, и разбивал их печатные станки. Случалось, что реакционных издателей вымазывали дегтем, украшали перьями и возили в таком виде по площадям, пока не вынуждали присягнуть в верности Союзу. Смазанная дегтем плантаторская личность мало походила на "самоцель", так что категорический императив Канта терпел в гражданской войне штатов немалый урон. Но это не все. "Правительство, с своей стороны, — рассказывает нам историк, — принимало разного рода карательные меры против изданий, которые держались несогласных с ним мнений, и в короткое время свободная до сих пор американская пресса очутилась в положении едва ли лучшем, чем в автократических европейских государствах". Той же участи подверглась и свобода слова. "Таким образом, — продолжает подполковник Флетчер, — американский народ отказался в это время от большей части своей свободы. Надо заметить, — нравоучительно прибавляет он, — что большинство народа было до такой степени поглощено войною и до такой степени проникнуто готовностью на всякого рода жертвы для достижения своей цели, что не только не сожалело об утраченной свободе, но даже почти этого не замечало" ("История американской войны", стр. 162-164).

Несравненно беспощаднее действовали кровожадные рабовладельцы юга со своей разнузданной челядью. "Повсюду, где образовалось большинство в пользу рабовладения, — рассказывает граф Парижский, — общественное мнение деспотически относилось к меньшинству. Всех, кто сожалел о национальном знамени..., принудили замолчать. Но скоро и это оказалось недостаточным; как и при всякой революции, равнодушных принудили выразить свою преданность новому порядку вещей... Те, которые не согласились на это, были отданы в жертву ненависти и насилия народной толпы... В каждом центре рождающейся цивилизации (юго-западных штатов) образовались комитеты бдительности из всех тех, которые отличались крайностями в избирательной борьбе... Кабак был обыкновенным местом их заседаний, и шумная оргия смешивалась с презренной пародией державных форм правосудия. Несколько бешеных людей, сидевших вокруг конторки, на которой лились джин и виски, судили своих присутствующих и отсутствующих сограждан. Обвиняемый, прежде чем был спрошен, уже видел, как приготавливали роковую веревку. Не

явившийся в суд узнавал свой приговор, падая под пулей палача, притаившегося за углом леса"... Эта картина очень напоминает те сцены, какие изо дня в день разыгрываются в стане Деникина, Колчака, Юденича и других героев англо-французской и американской "демократии".

Как обстоял вопрос о терроризме в отношении Парижской Коммуны 1871 года, мы увидим ниже. Во всяком случае попытки Каутского противопоставить нам Коммуну — несостоятельны в корне и лишь доводят автора до словесных вывертов самого низкопробного качества.

Институт заложников, по-видимому, надо признать "имманентным" терроризму гражданской войны. Каутский против терроризма и против института заложников, но за Парижскую Коммуну (NB: Коммуна жила пятьдесят лет тому назад). Между тем, Коммуна брала заложников. Получается затруднение. Но зачем же существует искусство экзегетики?

Декрет Коммуны о заложниках и об их расстреле в ответ на зверства версальцев возник, по глубокомысленному толкованию Каутского, "из стремления сохранить человеческие жизни, а не уничтожать их". Превосходное открытие! Его нужно только расширить. Можно и должно пояснить, что в гражданской войне мы истребляем белогвардейцев для того, чтобы они не истребляли рабочих. Стало быть, задачей нашей является не истребление жизней, а их сохранение. Но так как бороться за сохранение жизней приходится с оружием в руках, то это приводит к истреблению жизней — загадка, диалектический секрет которой был разъяснен стариком Гегелем [82], не считая еще более древних мудрецов.

Коммуна могла удержаться и окрепнуть только путем жестокой борьбы с версальцами. У версальцев же было значительное число агентов в Париже. Борясь с бандами Тьера [83], Коммуна не могла не истреблять версальцев — на фронте и в тылу. Если бы ее господство перешло за пределы Парижа, она в провинции встретила бы — в процессе гражданской войны с армией Национального Собрания — еще больше заклятых врагов в среде мирного населения. Коммуна не могла, сражаясь с роялистами, предоставлять свободу слова агентам роялистов в тылу.

Каутский, несмотря на все нынешние мировые события, совершенно не постигает, что значит война вообще, гражданская война в особенности. Он не понимает, что каждый, или почти каждый, сторонник Тьера в Париже был не просто идейным "противником" коммунаров, но агентом и шпионом Тьера, свирепым врагом, готовым стрелять в спину. Врага нужно обезвреживать, а во время войны это значит уничтожать.

Задача революции, как и войны, состоит в том, чтобы сломить волю врага, заставив его капитулировать и принять условия победителя. Воля есть, конечно, факт психического мира, но, в отличие от митинга, публичного диспута или съезда, революция преследует свою цель посредством применения материальных средств, — хотя в меньшей мере, чем война.

Сама буржуазия завоевала власть при помощи восстаний, закрепляла ее путем гражданской войны. В мирную эпоху она удерживает власть в своих руках при помощи сложной системы репрессий. Доколе существует классовое общество, основанное на глубочайших антагонизмах, репрессии остаются необходимым средством подчинить себе волю противной стороны.

Если бы даже в той или другой стране диктатура пролетариата сложилась во внешних рамках демократии, этим отнюдь еще не была бы устранена гражданская война. Вопрос о том, кому господствовать в стране, т. е. жить или погибнуть буржуазии, будет решаться с обеих сторон не ссылаясь на параграфы конституции, но применением всех видов насилия. Сколько бы Каутский ни исследовал пищу антропологов (см. стр. 85 и след. его книжки) и другие близкие и отдаленные обстоятельства для определения причин человеческой жестокости, он не найдет в истории других средств сломить классовую волю врага, кроме целесообразного и энергичного применения насилия.

Степень ожесточенности борьбы зависит от ряда внутренних и международных обстоятельств. Чем ожесточеннее и опаснее сопротивление поверженного классового врага, тем неизбежнее система репрессий сгущается в систему террора.

Но тут Каутский занимает неожиданно новую позицию в борьбе с советским терроризмом: он просто-напросто отводит ссылки на свирепость контрреволюционного сопротивления русской буржуазии. "Такой свирепости, — говорит он, — нельзя было заметить в ноябре 1917 г. в Петербурге и в Москве и еще меньше недавно в Будапеште" (стр. 102).

При такой счастливой постановке вопроса революционный терроризм оказывается просто продуктом кровожадности большевиков, уклонившихся одновременно от традиций травоядного антропозитака и от нравственных уроков каутскианства.

Первоначальное завоевание власти Советами, в начале ноября 1917 г. (по нов. стилю), совершилось само по себе с ничтожными жертвами. Русская буржуазия чувствовала себя настолько оторванной от народных масс, настолько внутренне бессильной, настолько скомпрометированной ходом и исходом войны, настолько деморализованной режимом Керенского, что почти не отважилась на сопротивление. В Петербурге власть Керенского была опрокинута почти без боя. В Москве сопротивление затянулось, главным образом, вследствие нерешительности наших собственных действий. В большинстве провинциальных городов власть переходила к Советам по одной телеграмме из Петербурга или Москвы. Если бы дело этим ограничилось, о красном терроре не было бы и речи. Но уже ноябрь 1917 г. был свидетелем начинавшегося сопротивления имущих. Понадобилось, правда, вмешательство империалистских правительств Запада для того, чтобы придать русской контрреволюции веру в себя, а ее сопротивлению — все возрастающую силу. Это можно показать на крупных и мелких фактах, изо дня в день, за всю эпоху Советской революции.

"Ставка" Керенского не чувствовала никакой опоры в солдатских массах и склонна была без сопротивления признать Советскую власть, приступавшую к переговорам о перемирии с немцами. Но последовал протест военных миссий Антанты, сопровождавшийся открытыми угрозами. Ставка испугалась; подстрекаемая "союзными" офицерами, она встала на путь сопротивления. Это привело к вооруженному конфликту и к убийству начальника полевого штаба, генерала Духонина, группой революционных матросов.

В Петербурге официальные агенты Антанты, особенно французская военная миссия, рука об руку с эсерами и меньшевиками, открыто организовали сопротивление, со второго дня Советского переворота мобилизуя, вооружая, натравливая на нас юнкеров и вообще буржуазную молодежь. Восстание юнкеров 10 ноября породило в сотни раз больше жертв, чем переворот 7 ноября. Вызванный тогда же Антантой авантюристский поход Керенского — Краснова на Петербург естественно внес в борьбу первые элементы ожесточения. Тем не менее генерал Краснов [84] был отпущен на честное слово. Ярославское восстание (летом 1918 года), стоившее стольких жертв, было организовано Савинковым [85] по заказу французского посольства и на его средства. Архангельск был захвачен по плану английских военно-морских агентов при помощи английских военных судов и самолетов. Начало царствию Колчака, ставленника американской биржи, было положено чужеземным чехо-словацким корпусом, состоявшим на содержании французского правительства. Каледин [86] и отпущенный нами на свободу Краснов, первые вожди донской контрреволюции, могли иметь частичные успехи только благодаря открытой военной и финансовой поддержке со стороны Германии. На Украине Советская власть была низвергнута в начале 1918 года германским милитаризмом. Добровольческая армия Деникина была создана при помощи финансовых и технических средств Великобритании и Франции. Только в надежде на вмешательство Англии и при ее материальной поддержке была создана армия Юденича [87]. Политики, дипломаты и журналисты стран Согласия с полной откровенностью дебатировали два года подряд вопрос о том, достаточно ли выгодным предприятием является финансирование гражданской войны в России. При этих условиях нужен поистине медный лоб, чтобы причину кровавого характера гражданской войны в России искать в злой воле большевиков, а не в международной обстановке.